

М. П. ПОГОДИН

ПОВЕСТИ  
ДРАМА

# Михаил Петрович Погодин

## Адель



В «Адели» присутствуют автобиографические мотивы, прототипом героини послужила княжна Александра Ивановна Трубецкая, домашним учителем которой был Погодин; в образе Дмитрия соединены черты самого Погодина и его рано умершего друга, лидера московских Любомудров, поэта Д. В. Веневитинова, как и Погодин, влюбленного в Трубецкую.

**М. П. Погодин**  
**АДЕЛЬ**

## *Посвящается О. С. А-вой*

У меня был друг, с которым я вырос, воспитывался, с которым рука об руку вышел на поприще жизни. Он умер в цвете лет, в прекраснейшую минуту бытия, когда оно достигло, кажется, до высшей степени своего совершенства. Смерть была для него счастьем — и я не смею роптать на судьбу, которая так рано раскинула темную тень по излучистой дороге моего странствия. Одна звезда светит мне теперь — воспоминание. С удовольствием я думаю об утраченном, с удовольствием говорю об нем... Сколько любви кипело у него в сердце! Какими особенными, прекрасными свойствами отличался его ум! Он ясно видел священную цель, назначенную человечеству, и был убежден сердечно, что она будет достигнута. В восторге преклонял он колена пред теми помазанниками, коим провидение представляло славный жребий увлекать к ней толпы за собою. Он пламенно любил отечество и с гордостью находил в истории и настоящем времени залогов тех благодеяний, которые воздаст оно некогда роду человеческому.

му. Науку ставил он выше всего, но не в мертвых буквах, а в живом умозрении, с сердечным участием; и в самом деле, знания составляли часть его тела, часть его бытия. Он радовался младенчески всякому благому успеху, общему и частному; любил людей и старался оправдывать их даже в самых предосудительных действиях. Кто знает, говорил он, какие впечатления, близкие или дальние, побудили несчастного к этому преступлению, и, может быть, оно есть математическое следствие прежних причин. При таком расположении духа личные враги, разумеется, не имели для него собственных имен. Самое зло он почитал только средством стеснительным, умножающим упругую силу добра; зла в природе, по его мнению, и не было; разве только добро отрицательное.

Этот молодой человек влюбился в одну девушку, достойную его священного жара. Читатели могут судить, какие чувства питал он к ней... Но всего лучше пусть познакомятся они с ним из собственных отрывков, которые нашел я в его бумагах и в которых, при всем беспорядке, небрежности, пропусках, ясно от-

ражается прекрасная душа его.

«...Милая девушка! Как приятно мне разговаривать с нею, передавать ей свои мысли о святых предметах человеческого знания. — Она понимает меня, чувствует всякое слово. — Шиллер скорбел, что редко удастся найти такого человека между современниками, даже между потомками. Я нашел его. — Разговор с нею мне наука: я сам яснее узнаю то, что хочу объяснить ей. — Это желание дает мне новую силу, раздвигает пределы моей мысли...

Какую доверенность имеет она ко мне! — Адель! Я не употреблю ее во зло. Я говорю тебе не то, что лепечут другие, часто противное — но да не смеет ни один несмысленный называть это ложью. — Чистый, священный огонь буду я раздувать на алтаре непорочной души твоей. Они, жалкие, хотя и добрые невежды, оскверняют его неумовенными руками своими. Прочь! Прочь! не прикасайтесь!

Я прочел ей свое рассуждение о просвещении как первой силе государства, без которой

нет ни твердого благосостояния, ни могущества [1]. Ни одна новая мысль, ни одно новое выражение не ускользнуло от ее внимания. Это дорого для автора. Все оценено по достоинству. — И какими взглядами выражались ее удовольствие и благодарность! Она слушала с таким участием, как будто б я читал ей пророчество о будущей ее жизни. Чистая, юная душа ее жаждет познаний; это умиленное зрелище, картина Рафаелева.

Прослушав все сочинение, она сказала мне тихо... с неизъяснимою прелестью: «Как сладостна должна быть для автора надежда, что целые веки голос его будет тревожить сердца людей достойных, очищать, в горняя возносить их дух...»

Друг мой! Я принимаю твое предвещание!

Вчера гуляли мы с нею по полю. Сбиралась гроза. Вдали глухо закатывался гром. Тучи быстро носились в воздухе, но, всякую минуту готовые столкнуться, разносил ветер. В природе была какая-то нерешительность. Мы поспешили домой и на балконе дожидались величественного явления. Вдруг молнии за-

сверкали гром, приблизясь, загремел. «Таким временем должны бы только наслаждаться поэты», — сказала Адель. «Они только и наслаждаются, — отвечал я, — толпа здесь слышит стук, от которого затыкает уши, и видит блеск, от которого щурит глаза».

Три года знаю я ее и чувствую, что стал лучше. Как жаль, что не знал ее прежде. — Я думаю только об том, как бы ей понравиться, а ей понравиться можно прекрасным, необыкновенным!

И собою она прелесть! — В ее темно-голубых глазах какая доброта, кротость! — Черные волосы, подобранные спереди в две кисти, как мило опускает она над бровями! Но всего больше мне нравится ее маленький ротик, подбородок. Ей-богу, на ее лице ясно видишь спокойствие, — этого мало, как бы объяснить, — чувствуешь, что эта душа, довольная собою, блаженствует и... Нет, не умею выговорить — предосадно! — А родимое пятнышко, а тонкий рубчик около губ, а белые щеки, особливо когда они зарумянятся на холоде под снежную пыль или в минуту сер-

дечного чувства. Как тогда поднимается ее высокая грудь! Недавно мы читали с нею об энтузиазме у госпожи Сталь. Она задышалась! О! она чувствует сильно, горячо.

В ее походке, в ее движениях — Поэзия. Голос мягкий, сладкий. Когда она говорит, так приятно отзывается в ушах моих. — Однако ж странно! Многие утверждают, что она не хороша собою. И нос широк, и лоб велик. Невежи! Только мне она показывает красоту свою. Я вижу ее, я один достоин поклоняться ей!

«В чем состоит счастье?» — спросила меня Адель, не помню, к чему-то, прохаживаясь со мною по зале после обеда. — «Я могу отвечать вам на это *одним* словом», — сказал я, остановясь и взглянув на нее быстро. Этот взор, верно, был нескромен. Она покраснела и нарочно уронила кольцо, чтоб, наклонясь, скрыть свою краску. — «Нет, — отвечала лукавая, оправясь, — о таком любопытном предмете мне желалось бы услышать от вас больше». — «Извольте, я рад говорить сколько вам угодно, но не пеняйте: вы сами выбрали ответ темнее. Счастье состоит в наслаждениях». —

«Эпикурец... Что вы?» — «Извините — это общее место». — «Виновата, виновата. В каких же наслаждениях? Вы переменили только слово». — «В наслаждениях ума, сердца, воли». — «Опять с своей системой. Я думала об ней. Ум наслаждается знаниями, сердце — чувствованиями, воля — действиями — так? Но я опровергну вас примерами: кто действовал больше Наполеона, чувствовал больше Руссо, знал больше Фауста — а разве они были счастливы?» — «*Comparaison n'est pas raison*» [2], но кто ж вам сказал, что Наполеон, завидев знамя Дезе при Маренго, или подписывая Кодекс, или возлагая на себя корону Карла Великого в соборе Нотрдамском [3], не был счастлив? А Руссо, поверьте, катаясь в лодке около острова Св. Петра, пишучи письма к Юлии [4], имел такие минуты, каких мало бывает на земле. — Фауста я терпеть не могу за его клевету на знание, и, верно, мы доживем до того времени, как новый поэт, воспитанник религии и философии, искупит это досадное для меня произведение славного Гете. Я поставлю вам в пример Архимеда, который бегал по улицам, крича: «Нашел, на-

шел!», Кеплера... и мало ли кого. — Но вы сами скажите, какое несравненное удовольствие вы ощущаете, уразумевая какую-нибудь глубокую мысль». — «Правда, — но это только минуты счастливые, а вся жизнь...» — «Иною минутою можно променяться на целую жизнь; примите еще в соображение, что этим людям мешали страсти». — «А как избавиться от страстей?» — «Читайте Евангелие. Средство есть, и если мы не умеем, не хотим пользоваться им, то должны винить себя, а не жизнь. — По тем минутам, которые нам, огрубелым, испорченным, развращенным людям доставляет чувство, знание, действие, можно судить, что бы они доставили нам в гармонической связи, если б мы были цели яко голуби [5]. Это идеал, и расстоянием от него определяется мера настоящих наших участков». — «Вот вам еще возражение: к такому счастью способны очень немногие, а весь род человеческий — страшно подумать!» — «Не беспокойтесь, в природе все устроено премудро, и у крестьянской старухи так же трепещет сердце, когда она крестится на произведение суздальского иконописца, как и у Жуковского

при взгляде на Мадонну [6]. Деревенскому мальчишке резные вычуры на старостиной избе верно нравятся больше непонятных произведений Баженова или Михайлова [7]. Линней десятью органами чувствует счастье, а рудокопатель двумя; но лишь бы они были удовлетворены, последний не будет тосковать о неведомых наслаждениях, и сытости меры нет. — Птица разве счастливее растения? — Только наблюдатель, созерцающий предвечные законы божий, указывает те наслаждения, которых человек вообще искать должен. — К сожалению, на свете не много еще Массильоновых избранных [8], не много людей, которые, по выражению Языкова, были бы достойны чести бытия [9], которые понимали бы, что такое человек, и старались достигать его высокой цели. Прочие — толпа, занята мелочью и так покорна обстоятельствам — земле, что не смеет и смотреть на небо. — И эти оглашенные презирают посвященных, смеются над ними, называют их безрассудными мечтателями. Голос их так шумит во всяком ухе, что даже я кажусь себе смешным, говоря вам это. Но наступит нако-

нец блаженное время: род человеческий совершенствуется...» — «Ваша правда, ваша правда!» — воскликнула Адель и ушла от меня в сильном смятении духа.

Неприменно, непременно я попрошу у ней позволение говорить ей *ты*. Сколько раз хотел я сделать это и всегда забываю. Мы друзья с нею; на что ж эти пустые приличия? Как приятно нам будет говорить так под окошком, в саду, украдкою от Аргусов [10]. — «Ну что, Адель, ты прочла «Иваное»?» [11] — «Прочла, благодарствуй, Дмитрий». — «А как тебе понравилась Ревекка?» [12] — «Прелесть, прелесть! — Она вскочила на окошко. — И я испугалась, боялась продолжать, закрыла книгу». Вдруг кто-нибудь подходит, и мы опять по прежнему камертону. *Вы* — одно это слово, кажется, безделица, а как связывает: то ли, так ли скажется, так ли почувствуется с простым, милым дружественным *ты*? А пересылаться взглядами, говорить друг другу двусмысленности, которых никто понимать не будет!

Дружба! — Но почему ж мне... не жениться на ней. Я вздумал это только ныне поутру. — (Сердце у меня бьется, когда я пишу это.) — Она ведь мне самая дальняя родственница. Ей семнадцать лет. Мне двадцать пять. — Вот где совершенная дружба! Как бы я был счастлив с нею! А предрассудки ее родителей, их богатство, известное желание отца выдать ее за графа Н. — Это все вздор, лишь бы только она... надеялась найти во мне счастье.

Вчера она была очень мила, в сером шелковом платье с кисейною косынкою на шее. — Ведь это талант — так одеваться, чтоб всякий заглядывался. Просто, скромно, но как все пристало, какой вкус! Я неприметно вошел в комнату. Она сидела под окошком и смотрела на небо, усеянное звездами, как будто прислушиваясь к звукам Платоновой гармонии [13], под которые совершают они свое течение. — Задумчивость придавала новую прелесть ее лицу, и она казалась самою Элегиею, Никогда Жуковский в часы своей унылой мечтательности не производил во мне такого впечатления, как она в эту минуту. «Вер-

но, вы думаете о той руке, по манию которой  
миры пустились в путь свой, — сказал я ей с  
благоговением, — ...или выбираете, на кото-  
рый переселиться с нашего?» — «Точно вы  
меня угадали. И третьего дня также. Я выби-  
рала; мы, верно, родились с вами под одним  
созвездием». — И мы начали говорить о таин-  
ствах симпатии, о магнетизме [14], о срод-  
стве. — Многое, многое мог я растолковать в  
пользу себе, — Она любит меня. — Но в мину-  
ту самую занимательную нас перервали... и  
всегда так случается: только что разгорячится  
сердце, тотчас плеснут в него холодную во-  
дою. — Говорить о минутном вздоре: «Где бы-  
ли вчера, куда поедете завтра, водевиль  
очень смешон», — я не могу, не хочу с нею —  
и оттого кажусь иногда холодным. Нужды  
нет. Пусть беседует об этом толпа. — Нет, мы  
должны говорить только о боге, душе, добро-  
детели, поэзии, истории. — Часто, в досаде на  
помехи, решаюсь оставить ее в своем вообра-  
жении. Если б можно было завести разговор  
душевный! — Условиться в такой-то час в раз-  
ных местах думать о том-то. Что, если родятся  
соответственные мысли? — Испытать. Как

приятно будет снестися после! Струны, настроенные на один лад, издают звук, когда прикоснешься только до одной из них; почему ж душам не иметь подобного сочувствия?

Вот что еще досадно мне: мне хочется знать все ее мысли о том, о другом человеке, все отношения, домашние тайны, а она как будто скрывает это. — Адель! говори мне все: не двое будут знать. Я желаю этого не из пустого любопытства; я хочу только, чтоб в душе твоей не осталось ничего для меня неизвестного! При взаимной доверенности всякая безделица будет драгоценна, как бумажная ассигнация в государстве. Впрочем, признаться ли, и сам я говорю не все. Я как-то робею перед нею, и все еще в почтительном отдалении. Вчера мы остались одни, и что ж сказал я ей? ничего. А такого случая в другой раз не дождешься.

Целую неделю я почти не говорю с нею. Она как будто избегает моего присутствия; что значит эта холодность?

Я всякую ночь почти вижу теперь стран-

ные сны. Вчера, например, я очутился в каком-то глухом переулке. Кругом ни души не видать, не слышать. Как будто б все живое здесь давно уж вымерло. — Спешу выбраться — передо мною пустырь и кучи, кучи деревянных развалин по всем сторонам. Здесь упавший забор, там дом без крыши, без окончин, разломанные ворота. Иду-иду. Опять все то же. Пустырь один другого больше, и нет им конца. Никакого цвета, никакого движения! Ужас напал на меня. Я хочу уж броситься на землю и умереть хоть с закрытыми глазами. Вдруг вижу, издали, под легким покрывалом, спешит ко мне девушка. — Я ожил. Радость, к ней — и проснулся. Как досадно мне было! Я не успел еще разглядеть ее. — Но это рост Адели...

Нет, она не чувствует ко мне этой пламенной дружбы, которой жаждет душа моя, она не любит меня. Любовь — дитя вдохновения. — Адель только что привыкла ко мне. Ей нравится мой образ мыслей; ей приятно говорить со мною — и только. — Правда, взор ее часто обращается на меня с нежностью. Вче-

ра, как прочел я ей сцену из моего романа, она взглянула на меня очень убедительно. — А как схватила она меня за руку при монологе дон Карлоса! [15] — Иногда радуется она моему явлению очень мило, прощается со мной очень нежно. «Приходите к нам завтра, да пораньше, приходите же!» — Когда-то я сказал ей, не помню к чему, что стена между нами поднимается выше и выше. — «Нет, это только застава, — отвечала она, — чрез которую мы проложим путь». А еще: подруга ее сказала однажды шутя, что можно узнать во сне судьбу свою, как-то впросонках оборотив свою подушку. Смеясь, мы согласились загадать при первом случае. — «Ну, что вы видели?» — спросила она меня, улыбаясь, на другой день. «Ах, я был в раю. — Если б это исполнилось!» — «Скажите же, что такое?» — «Не могу». А после, будто проговорившись, я дал ей понять, что видел ее, и она — она была, кажется, не довольна.

Я нашел ее в слезах. — Она обратила разговор на бессмертие души. — «Убедите меня, что душа бессмертна. От вас именно хочу я

получить доказательство». — «Помните, мы говорили недавно о счастье. — Сии избранные, сии гении в минуты величайших своих откровений ощущали еще какую-то пустоту в своем сердце, которое уж ничем наполнить не могли. Они все еще желали, и это видно из их сочинений. — Это желание — что ж оно значит? тоску по отчизне. А этот последний вопрос, на который молчат и Шеллинги, знающие, как все происходит: откуда все и куда все? — Где же удовлетворение нашему сердцу и нашему уму?» — «Благодарю вас, — она прервала, — да стоит ли труда из двух-трех минут жить на этом свете без надежды на будущий?» — крепко пожала мне руку... право, я не ошибся, очень крепко, и ушла в другую комнату.

Друг мой! душа бессмертна. Там, там, на высоком небе, обниму я тебя торжественно. Там, забыв ничтожный мир с его презренными рабами, свергнув с себя иго грубой, тяжелой плоти, вразумимся мы в себя, сольемся чистыми душами своими, и ангелы позавидуют нашему счастью.

Я объяснюсь ей в любви. Как мне этого хочется! — Но все не смею. — Решительный у себя, я робею перед нею и как будто не влюблен, а только что люблю ее. Но могу ли я выразить свое чувство! На каком человеческом языке достанет слов для него? — Я его унижу. — Словами назначатся ему какие-то пределы; оно подведется под какую-то точку известную, объятную, — оно, бесконечное, беспредельное. — Нет, я не поверю его нашим словам. Ах, дайте, дайте мне другую, не земную азбуку. — Если б она узнала меня совершенно, совершенно!

Но не обманывает ли меня самолюбие! Может быть, случайные слова я растолковал в свою пользу; может быть, она питает ко мне только уважение и мое объяснение назовет сумасшествием? «Как вы смеете?» — скажет она... Клевета, клевета! Во всяком случае она почтет это для себя несчастием, пожалеет обо мне искренно. — Что тут безумного? Так может рассуждать какой-нибудь ослепленный невежа, а не она. — Ну что ж! я буду терпеть.

Терпеть! Грубый человек. Пусть она не лю-

бит меня. — Я хочу этого. И вот будет самая чистая, совершенная любовь с моей стороны. — Сердце хочет любить. На что ж еще ответ ему? Что за меновая торговля? как будто оно может перестать? — Разве мало ему наслаждения — любить?

Вчера, после ужина вместе с гостями ходили мы в сад слушать соловья. Приятная минута! — Все было тихо; мы, впереди других, приближались к нему па цыпочках в темной аллее. Вот звуки! сладостно было дожидаться их, не смея перевести дыхание. — Вдруг раздадутся на всю рощу и вдруг опять благоговейное безмолвие. — Как мне хотелось поцеловать мою Адель!

На каждом шагу природа представляет удовольствия человеку, и как мало он пользуется ими, ожесточенный! — Ночь, синий свод, осыпанный сверкающими алмазами, полный светлый месяц, дробящийся между древесными ветвями, воздух благоухает, дорога покрыта тенью, тишина в природе, а душа всего — Адель.

Я поеду путешествовать с нею. Всем пре-

красным мы насладимся. Всему великому мы поклонимся. Гробница Шиллера и Гедера, лекция Шеллинга, Мадонна Рафаелева, маститый старец — немецкая литература, французские палаты [16], спектакли, улица Победы, Лондонская гавань, мирное жилище Вальтер Скотта, чугунные дороги, Ланкастерские школы [17], восхождение солнца на Альпийских горах, вечерняя прогулка по Женевскому озеру [18], Венера Медицинская, вечный Рим, Этна, лавр Виргилиев, «Тайная вечеря» Леонарда Винчи, развалины Помпеи, храм святого Петра — сколько, сколько сладостных ощущений! — Мы перечувствуем всю историю, мы переживем всю жизнь; мы увидим все, чего достигнул человеческий гений в победоносной борьбе с нуждою, по всем путям, по которым он должен был стремиться к своей далекой цели. Религия, жизнь семейственная, жизнь гражданская, царство промышленности, царство изящного представят удивленным взорам нашим по разным странам и климатам во всех возможных видоизменениях. А места благородных усилий, освященные кровавым потом, горячими слезами великих

мыслителей: эта ива Шекспирова [19], этот чердак Руссо или темницы Лутера, Галилея, Данта! — А эти бесчисленные ступени образования, на коих горит еще глубоко протертый след труда человеческого, — и наконец та, с которой старший сын Адамов смотрит теперь на небесную свою отчизну...

Но разве мы ограничимся одною Европою! Благодаря успехам гражданственности расстояния сократились: в четырнадцать дней уж можно поспеть из Ливерпуля в Америку, чрез месяц в Ост-Индию, а из Одессы в неделю в Константинополь, Египет, Иерусалим; ныне стыдно уж образованному человеку умереть, не видав чудес, являющихся на земле задняя (так в книге) славы божией. Так, мы увидим водопад Ниагарский, дремучие леса, многоводные реки, и недосыгаемые горы юной природы американской, и степенный Египет с его гиероглифическими пирамидами и благодетельным Нилом, старшим возбуждателем человеческой деятельности, и поэтическую Индию с ее древними, уже беспамятными развалинами и седовласыми браминами, которые в безмолвии, почти не принимая пи-

щи, по целым годам погружаются в таинственные созерцания, — и памятник славного македонца, что первый указал сынам Иафета их преимущество пред прочими братьями, Александрию [20] — и Аравийские пустыни, наполненные фантастическим духом магометанской религии, — и естественную столицу мира, по верному выбору Наполеона, седмихолмный Константинополь, средоточие Европы, Азии и Африки; — и остров, куда, за моря и земли, испуганная Европа сослала этого своенравного сына, где денно и ночью, едва переводя дыхание, стерегла всякое неумышленное его движение, где он, десятилетний рок мира, под плесканье пустынной волны размышлял о народах и царствах; где он, пловец испытанный, вспоминал прежние бури и в изумлении оглядывался на свою неожиданную пристань, не веря собственным глазам своим. Там, на могиле этого исполина, упавшего в пропасть, которой глубину можно сравнивать только с высотой его прежнего величия, мы скажем всего убедительнее с Соломоном: суета сует и всяческая суета! [21]. . . .

.....

И наконец Вифлеем и Голгофа, святая святых, небо земли!

Куда увлекла меня послушная мечта! — Но что ж тут мечтательного? Разве это невозможно, разве это трудно?

Я говорил с Аделью о путешествии. Она слушала с восхищением. «Поедем вместе», — сказал я. «Я рада, — ах, если б в этом слове была сила!» Что же это значит? Точно — она меня любит.

А потом, потом с богатым запасом впечатлений мы поселимся в деревне, на берегу Волги. — Признаться ли, мысль о сельской жизни даже приятнее путешествия моему воображению, и ни об чем еще не мечтал я так сладостно! Вдали от сует, недостойных человека, без тщетных замыслов и желаний, свободные от мелких условий и отношений, не смущаемые страстями, будем мы жить мирно и спокойно в нашем заповедном уединении, наслаждаться любовью и с благоговением созерцать истинное, благое и прекрасное в природе, науке

и искусстве, Я буду набожно вопрошать всемирных оракулов, вникать в их многозначущие заветования и, может быть, — мечта сладостная — творческие думы созреют, по выражению поэта, в душевной глубине [22], и я сам, по священному следу, успею стереть какое-нибудь пятно на скрижалях ума человеческого или напечатлеть новую истину, в поучение современников и потомства.

Я воображаю: поутру, прогулявшись по рощам и долинам, освежась чистым воздухом, принимаюсь я за работу в своем кабинете, пишу, читаю целые часы без всякой помехи — с напряженным вниманием, сосредоточенным на один любимый предмет, погружаясь глубже и глубже в сладостные размышления...

Перед обедом ко мне приходит Адель с Эмилем на руках и рассказывает об его первой улыбке или обнаружении новой способности. Расцеловав их обоих, я показываю ей драгоценности, собранные на дне искания... Опять гуляем. После простого вкусного обеда, приготовленного ее руками, отдохнув, мы вспоминаем о нашем путешествии; или

учимся языкам; или говорим о жизни Александров, Фридрихов, Петров, о тех препятствиях, чрез которые прорывались они торжественно, об их отважных замыслах и странных удачах; или читаем Руссо, Карамзина, Байрона, Окена [23], Клопштока... [24] какие собеседники вместо дюжинных посетителей, призраков столицы! — Как живо будем мы чувствовать в нашей легкой Альпийской атмосфере красоту всякого выражения, глубину всякой мысли! Устами великих учителей я посвящу мою Адель в таинство науки; с верою и любовью мы будем вместе изучать природу от Пифагоровой монады [25] до чудного, совершеннейшего творения — человека, наблюдая все ее удивительные аналогии; — потом я поведу ее в другой великий мир, мир истории, и расскажу ей жизнь человеческого рода по предвечным законам от первого пробуждения умственных способностей в существе географическом до полета Шлёцера, Наполеона, Шеллинга... до идеала, дарованного богочеловеком. Мы обозрим эту Иаковлеву лестницу [26] и с благоговением преклоним колена пред мудрым промыслом, о нем же

всяческая существует.

И всякая минута так наполнена, и ни одного противного впечатления!

А друзья, которые подчас приедут навестить нас с новыми звуками русской лиры, произведениями русского ума, новыми указами, залогами отечественного счастья. — Вот уж от души мы выпьем тогда по полному бокалу шампанского!

Да, непременно еще надобно завести у себя вернейшие портреты великих людей и копии с изящнейших произведений ваяния и живописи. Чтоб всяким взглядом в нашем доме изоцрялся вкус, возвышалась душа! — Мы сумеем убрать наши комнаты!

Мне хочется иногда, чтоб занемогла она: я буду ходить за нею, страдать с нею, — и она все это будет видеть, чувствовать. — Мне хочется, чтоб она умерла: вот когда, в этих адских муках, почувствую я любовь свою во всей полноте. — Нет, я не буду мучиться: пусть тлеет ее тело; она останется в любви моей невредимая, живая, бессмертная. — Или — я оживлю мертвую моим духом, силою

моей страсти. — Нет — лучше я буду сперва мучиться, потом оживлю. Я хочу почувствовать все чувства.

Я умираю. Она приходит ко мне. Расстроенный мой ум тотчас устанавливается, из беспомыслия я прихожу в себя. — Мне ль не узнать ее? Я возьму ее руку, приложу к своему сердцу, поцелую ее — друг мой! прости...

Ревность — вот еще прекрасное, сильное ощущение; термометр любви. Шекспир! как хорош твой Отелло!

Я видел ее у обедни в Симоновом монастыре. Всякое божественное слово выражалось ее ангельскими взорами: «Горе имеем сердца — премудрость! прости — достойно есть яко во истину блажити тя богородицу» [27]. — Благодарение, спокойствие, кротость, преданность. — Мой любезный Карло Дольче! изорви свои картины. Опять искусство стало ниже природы...

19 апреля — день, счастливейший в моей

жизни. Я читал Евангелие с Аделью. Мы говорили о любимом предмете моих размышлений, земной жизни Иисус-Христовой, о разных словах его и действиях: как на известие, что его дожидается на дворе мать и братия, «простер руку свою на ученики своя и рече: «Иже бо аще сотворит волю отца моего, иже есть на небесах, той брат мой, и сестра и мати ми есть». Как на вопрос Петра, можно ли прощать брата до семи раз, отвечал: «Не глаголю тебе, до седьмь крат, но до седьмдесят крат седмицею»; как спас он несчастную грешницу от фарисеев, осуждавших ее на побиение камнями, сказав им: «Иже есть без греха в вас, прежде верзи камень на ню», как на Фаворе «бысть, егда моляшеся, видение лица его ино, и одеяние его бело блистаяся»; как на горе Елеонской «быв в подвизе, прилежнее моляшеся, бысть же пот яко капли крове, каплющая на землю»; как, распятый на кресте, воскликнул он: «Отче, прости им, не ведят бо, что творят»; как произнеся «Совершишася», предал дух. В святом восторге, молча смотрели мы друг на друга, и глаза наши наполнились слезами умиления.

Один древний сказал: «Если я узнаю какого-нибудь человека, то узнаю себя». — В ней хочу я узнать себя. О, друг мой! ты получишь на меня новое право. — Но откуда ж будет взять мне любви! — Откуда! Я целые миры наполню ею, и все будет у меня оставаться больше — источник неиссякаемый.

Гордый юноша! ты думал, что тебе довольно себя, — и горько узнать тебе, что ты только половина; но утешься — ты можешь сделать-ся бесчисленностию.

Я позабыл все, все, как будто б ничего и не было. Везде, все — она и я. Я не дышу, не живу — я только люблю.

Какое действие в природе есть самое высокое, таинственное, священное?

Июля 20. Я был у ее брата; он увел меня с собою в ее кабинет. Ей в первый раз завивали волосы. Она сидела перед зеркалом. — Как я вздрогнул, когда ловкий француз прикоснул-

ся ножницами к ее черным локонам. Ах! жертву ведут на заклание. В пылу своих мечтаний я позабыл об этом испытании, которое предстоит ей, в котором исчезло уже столько прекрасных надежд. Адель! если б ты узнала вдруг все ужасы большого света! Как мне описать его тебе и с чего начну я? Это... это гнездо разврата сердечного, невежества, слабоумия, низости! Спесь становится там на колени перед наглым случаем, целуя запыленную полу его одежды, и давит пятою скромное достоинство. Суетному тщеславию приносится в жертву и чужой труд, и будущая участь собственного семейства. Мелочное честолюбие составляет предмет утренней заботы и ночного бдения, лезть бессовестная управляет словами, гнусная корысть — поступками, и об добродетели сохраняется предание только притворством. — Ни одна высокая мысль не сверкнет в этой удушливой мгле, ни одно теплое чувство не разогреет этой ледяной коры. Люди не благоговеют там пред гением, не радуются успехам просвещения, не принимают участия в судьбе человечества, не верят истине, горняя внушения называют мечтами,

*И признак бога — вдохновенье  
Для них и чуждо и смешно. [28]*

Смотри — вот друг человечества, который пишет проекты об уничтожении нищеты, пустив по миру тысячи родовых крестьян. Вот преобразователь государства, который своею рукою не умеет пяти слов написать связано и правильно. Вот гордый сановник, к которому приблизиться не смеют подчиненные и который наедине треплет по плечу камердинера или целует руку у любовницы сильного временщика. Вот патриот, который получает миллион доходу и жертвует отечеству крестьянские подушные деньги, — вот набожная старуха, которая по средам и пятницам ездит к обедне, кладя земные поклоны без счету, и которая, по своим видам, рада позволить родному сыну отвратительное распутство. Вот человек добродетельный, который из лишней тысячи уделяет грош на кусок хлеба бедному, и то еще за почетный диплом. Вот человек честный, который платит верно по заемным письмам из выигранных наверное денег. Вот жаркий либерал, у которого камердинер не ходит без синих пятен на лице. Вот

верная супруга, у которой пять домашних друзей; верный супруг, у которого на содержании оперная певица; любезный молодой человек, который испытал все Тиссотовы лекарства [29] и заложил уж последний башмак из приданого будущей своей невесты; почти-тельный сын, которого тяжбу с матерью решает подкупленный суд. Вот покровитель просвещения, которого сын учится философии у французского модиста; вот испытатель путей господних, который за одно оскорбительное слово готов оклеветать брата пред уголовным судом, вот... Но мне уж отвратительно исчислять ненавистный легион...

Скажут, я увлекаюсь пристрастием, сужу слишком строго, вижу одну черную сторону, — согласен; но, Адель, подумай: не много ли ужасного и в четверти правды?..

Я начертал тебе характеристику действующих лиц, но что должно еще сказать об их употреблении времени, священного времени, которое искупать повелевает нам мудрый? Об этих визитах, где страдают гости и хозяева, об этих поздравлениях с именинами,

праздниками, успехами; о прогулках, где хотят только показать себя и пощеголять, хоть напрокат, перед другими, об этих туалетах, званых обедах, балах, где несчастные девушки по целым часам кружатся без усталости, чтоб на завтра встать в полдень с больною головою и поблеклыми щеками, чтоб до срока расстроить здоровье своего тела и помрачить чистоту своей души. — Поверишь ли: у этих людей нет ни одной минуты, в которой бы они могли предаться свободно своему сердцу или уму. Вольные рабы и мученики, они вращаются в своей стихии — пустоте — по законам каких-то условных приличий; часто ненавидят их сами, но не имеют столько сил, чтобы освободиться из-под их тяготения: сначала, в молодости, бранят их, потом терпят, привыкают, наконец делаются их блюстителями, защитниками и, не имея никаких других достоинств, гордятся их познаниями. В обществе они сносны, даже забавны, когда с ловкостью и любезностью, рассыпая везде цветки светского остроумия, говорят о предметах, для себя близких: о городских сплетнях, французских водевилях, балах, гуляньях,

модах, успешных и не успешных исканиях; но среди мелочей, легкомысленные, они осмеливаются

Иногда произносить еще важные священные слова отечества, Дружбы, поэзии, добра, воспитания, правительства, верховной власти... Ах, Адель, ты не можешь вообразить себе, что я чувствовал, когда, сидя в углу какой-нибудь великолепной гостиной, безмолвный и задумчивый, вслушивался я нечаянно в их нелепые восклицания! Кровь моя леденела, желчь поднималась, я бледнел и скрежетал зубами... Ах, Адель! ты не можешь себе вообразить, что я чувствовал еще, когда в эту минуту какой-нибудь знатный невежа подходил ко мне и с видом покровительства брал меня за руку или спрашивал насмешливым тоном: «Что делается хорошего в вашей литературе?» — насквозь пронзить хотел бы я его каким-нибудь словом презрения или взглядом дьявольской гордости — и только мысль: «что я сделал важного, чем оправдать, поддержать могу безвременное движение, подождем» — меня останавливала, и я удерживался и, трепещущий негодованием, отвечал ему

тихо: «Чему у нас быть хорошему, ваше сиятельство... Ah, j'ai reçu «Les mémoires de la Contemporaine» [30] lisez ça, c'est charmant!» [31]

Таков, Адель, тот большой свет, в который ты являешься.

Но неужели, спросишь ты меня, все это там наружи, пред взорами каждого. — Нет, мой друг, все под покровом нарядным, блестящим, почти непроницаемым; вот в чем и опасность для неопытной юности. — Яркими цветами усеяны пологие берега пропасти. На последнем шагу еще взор несчастного увеселяется очаровательными видами, а чрез минуту он летит стремглав на далекое, тинистое дно. — Не упади, не упади, Адель!

Вчера я встретился с нею на бале у министра. «Нравится ли вам ваша новая планета и ее жители?» — «Ах, как же! здесь все так светло, так живо! Я не могу еще опомниться от удовольствия. А вы отчего так печальны?» — «Я... признаюсь, оттого же, отчего вы веселы. Мне кажется, что вас убывает всякую минуту, что я теряю вас; что вы удаляетесь от меня тихо, неприметно, и тем опаснее для меня. —

Адель! Если мы не станем слышать и понимать друг друга?» — «Перестаньте, вы меня обижаете... Для вас нет никакой опасности. Я порезвлюсь, поиграю, pour avoir quelque chose à raconter[32] и ворочусь... в уединение».

Точно! точно! я виноват пред тобою. Моя робость излишняя. С твоим ли сердцем и умом преклонить колено пред скудельным кумиром? Тебе ли, рожденной для высших человеческих наслаждений, удовольствоваться сими жалкими празднествами, сими безумными плесками? Ты окинешь гордым взглядом ослепленных язычников, проникнешь в их тайну, одним словом удержишь их в почтительном отдалении и, победоносная, сквозь их неистовые толпы выйдешь торжественно из Ваалова [33] храма, чтоб с большим пламенем броситься в объятия природы, науки и любви... любви моей... Адель! ко мне! ко мне!

Мне нужно ехать в Малороссию по делам батюшки. — Какая досада! О, зачем, зачем подчиняется человек этим обстоятель-

ствам? — Мне нельзя будет следить ее впечатлений. Она не станет рассказывать мне о своих чувствованиях. — Сколько жизни я потеряю!

Как нарочно, она теперь в Подмосковной, а мне надо ехать немедленно и нельзя даже проститься с ней. Я не могу сказать ей несколько слов в предостережение. — Грустно, тошно. — Напишу к ней записку:

Прощайте, Адель! Мы расстаемся с вами, может быть, надолго, может быть, навсегда. Я надеюсь, что вы никогда не забудете меня. Если вы будете счастливы, как человеку должно и можно быть счастливо, то мое желание, самое пламенное, какое только может ощущать душа, исполнится. Тогда особенно, *nei giorni felici ricordati di me*[34]. А я, один, пойду тихо своей дорогою и, словами поэта, не стану говорить с ропотом: нет счастья, а с благодарностию: оно было [35].

Обстоятельства переменились. Я остаюсь еще на два дня в Москве. Перечитываю свою записку. Какой элегический вздор я написал

к ней вчера! Съезжу к ней на минутку.

Простились. Она провожала меня с горестию, и слезы навертывались у ней на глазах. «Не позабудьте меня», — она сказала тихо, пожимая мою руку. — Позабуду ли я тебя, дружкой! Ты — я, ты присутствуешь тайно во всяком моем слове, мысли, чувстве, без тебя нет и меня... Мне было горько, даже до смерти. Скоро ль я увижу ее опять? Так ли она встретит меня, как теперь проводила?

Я беспрестанно удаляюсь от нее. Быстрая тройка мчит меня с горы на гору. Перед мною мелькают леса, поля, деревни. — Что делает теперь моя Адель? Может быть, она гуляет в саду по тем аллеям, где мы гуляли с нею вместе, и останавливается на тех местах, где мы встречались: у крайней березы над оврагом, за прудом под старою ивой, в липовой роще. Или — она перечитывает мои сочинения и находит в них свои мысли, воспоминает, когда они были сказаны, и, с улыбкой на устах, закрывши книгу, сладко задумывается. — А может быть, какая-нибудь светская приятельница изглаждает мои впечатления, возбужда-

ет недоверчивость к моим мнениям, представляет ей вещи с другой стороны, умными софизмами разлучает меня с нею... Ах, Адель! зачем я не с тобою! — Или, еще ужаснее, какой-нибудь повеса под скромною личиною привлекает ее внимание; притворными чувствами, чужими мыслями вкрадывается к ней в сердце, коварными устами говорит ложь, которая ей нравится, и тускнеет мое чистое зеркало [36], - удалитесь, черные мысли... и она, не разобрав своих чувствований ко мне, обманывается новыми.

Наконец приехал я в деревню; дела все ужасно расстроены. Сажусь за счеты, складаваю, вычитаю, поверяю. — Как бы кончить все скорее, и в Москву!

Месяц уж я работаю с утра до вечера, а все еще половина дела впереди.

От Адели давно нет никакого известия. Что это значит? Беспреданно посылаю справляться в город, не отхожу от своего стола под окошком, ожидая ответа с почты.

Я не знаю, что сделалось бы со мною, если б бог не послал мне благодетельницы-соседки, которая живет подле нашего села, на другом берегу реки. С трех разговоров она открыла тайну моего сердца. — Всякий раз, как я приду к ней усталый и печальный, она находит какое-нибудь средство оживить упавший дух мой, разрешает все мои сомнения, объясняет в мою пользу все обстоятельства, изобретает тысячу вероятностей, и опять в темной глубине моей души затепливается луч благодатной надежды, и, утешенное дитя, я возвращаюсь домой с новыми мечтами. — Никогда, никогда не позабуду я твоего участия, добрая душа!

Она начала мне гадать на картах и, странность, сказала мне многое, похожее на истину за прошедшее время. Правда, она говорит ныне то, а завтра другое, об одной и той же карте, но мне хочется обманываться, и я рад верить всякой небылице, которая обещает мне Адель.

Червонная семерка, осмерка, девятка вы-

шли вместе, и к ним червонный туз. Я должен получить письмо чрез делового человека. Если она послала из Москвы в среду, оно придет в город к воскресенью 6-го числа. Ныне четверг. Три дня. — Что она напишет ко мне!

Оставляю все свои счета, не стану ни об чем думать, кроме Адели, чтоб письмо застало меня готового, достойного, с свободным духом, чтоб мне не мешало никакое постороннее впечатление, чтоб вполне я мог наслаждаться всякою строкою...

Шестое число приходит. И седьмое. Письма нет. Мучусь. Тоска овладела мною. Я пугаюсь всякого шороха, боюсь говорить со всяким новым лицом, чтоб не услышать какого-нибудь рокового известия. В голове носятся мысли, одна другой печальнее, сердце ноет. Мрачные предчувствия. И сон оставил меня. Ах, как тягостна неизвестность!

Наконец я могу ехать. Дописав последнюю строчку, я кинулся в кибитку, напутствуемый благословениями и желаниями моей доброй

утешительницы. Через три дня я увижу ее, узнаю все. Мы летим. Она должна быть теперь в деревне на моей дороге...

С каким трепетом поднимался я на ту гору, с которой видна вдаль, верст за семь, их прелестная усадьба! Вот домик, в котором живет она. — Что она делает теперь? Думает ли, что друг ее так близко? — Вот поле, окруженное со всех сторон лесом, где она обыкновенно гуляет! — Вот березовая роща, где мы с ней отдыхали. — Куда не проникал мой острый взор! — Как билось мое сердце, когда между деревьями показывалось что-нибудь белое, цветное. Не она ли, не она ли? Вот и деревня. Сердце выпрыгнуть хочет. Идет знакомая крестьянка... «Здесь ли твоя барышня?» — «Нет, сударь». — «Поворачивай скорей в Москву».

Она больна.

Вот причина ее молчания; предчувствие не обмануло.

К ней никого не пускают. Жар непрерывный. Покойный С. занемог так же. Господи, умиლოსердись! Я не помню себя. Доктора, впрочем, обнадеживают. Что будет завтра?

Какое ожидание, еще мучительнее неизвестности!

Нет, она не умрет. Этот ангел нужен для земли. Кто ж останется?

Ей хуже. Она не спала ночи. Хотя б раз взглянуть мне на нее, хотя б услышать один звук ее голоса. В доме смятение. Люди плачут. Отец и мать в отчаянии. Мне беспрестанно встречаются похороны, сны страшные. Неужели?.. Живи, живи, живи!

Я просил позволения войти к ней. «Нельзя, она растревожится, доктора не позволяют». А ей еще хуже, и она может умереть, не видав моего страдания, не узнав моей любви к ней, моей бесконечной страсти; мое сердце разрывается на части. Что она чувствует теперь? думает ли обо мне? Пустите, пустите меня к ней!

И кто около нее в эту великую минуту, когда душа стремится покинуть свою тесную темницу, расправляет крылья, чтоб вознести-

ся в горня? Невежды не умеют оценить ни одного взгляда ее, ни одного слова. Они утешают ее детскими надеждами, рассказывают для рассеяния всякие вздоры — молчите! — Царство божие пред нею открывается, она проникает в священные тайны. Не напоминайте ей о нашей плачевной юдоли. Я не останусь без нее на свете. Чем мне будет думать, чем чувствовать, жить? кто поймет меня, ободрит! Нет, я умру вместе с нею; но я хочу видеть ее здесь, на земле, хочу слышать ее заветное слово... непременно, непременно.

На рубеже двух миров, бесстрастные, бесплотные, смело мы бросимся друг другу в объятия, в пламенном поцелуе восчувствуем всю силу взаимной любви, в одну минуту проживем всю жизнь, — и тогда, тогда... Господи! прими дух наш с миром!»

Это были последние строки в дневнике моего друга. — Желание его не исполнилось: он не мог увидаться с любимицею души своей, и несчастная девушка умерла на руках чужих людей, хотя из-за стены рвался к ней свой. Домой, сказывал мне его камердинер, пришел

он мрачный и безмолвный и заперся в своей комнате. Я навещал его вместе с товарищами, но мы не посмели смущать его священной горести и только посмотрели на него в замок. Бледный, с растрепанными волосами, с неподвижным взором, склоняясь головою, сидел он в углу. — Изредка только из груди его вырывались глухие стоны, изредка кровь бросалась в лицо, он взглядывал кверху, и из сих взглядов мы узнавали, что происходило у него в сердце. — На другой день, увидев его еще в худшем положении, я решился войти в его комнату. Услышав шум, он оборотился ко мне и, залившись горькими слезами, бросился на шею. — Я хотел было говорить — он дал мне знак молчания и стремительно отвернулся от меня, как бы опомнившись или устыдясь посторонней мысли. — Я вышел от несчастливца, и ропот, грешный ропот раздавался в моем сердце.

В день погребения, поутру, с первым ударом колокола, одевшись в черное платье, пошел он в приходскую церковь. — В розовом гробе, в белом платье, украшенном зелеными лентами, среди погребальных свеч лежала

усопшая. Казалось, она встретила смерть, думая не об земле, которую покидала, а об небесном отце, пред которого предстать готовилась. Эта последняя мысль сохранилась еще на прекрасном, хотя и помертвелом лице ее. Народ смотрел на нее не с простым любопытством, но с каким-то глубоким почтением. Наш друг вошел спокойно в церковь, и только при первом взгляде на усопшую заметно было на лице его какое-то движение, знак чувства, взволновавшего сердце, или мысли, омрачившей ум. — Он стал в головах (близких родных не было по нашему странному предрассудку) и во все продолжение божественной службы стоял неподвижно, не обращаясь даже на свою возлюбленную. На лице его не приметно было никакого чувства, никакой жизни в целом теле — и только на ектениях о сотворении вечной памяти усопшей рабе божией он вздрагивал мгновенно. Нам страшно было видеть эту окаменелость; мы желали, чтоб скорее кончился печальный обряд и мы могли бы принять его к себе на лоно дружбы, укрепить изнемогающую душу. Но по окончании литургии, когда священни-

ки стали вокруг гроба, предстоявшие зажгли свечи и началось отпевание, при гласе «Блажени непорочнии в путь, ходящий в законе господне» — наш друг возвратился к жизни. Слезы, долго заключенные, хлынули из глаз его потоками; лицо, дотоле бесчувственное, приняло выражение скорби неописанной; он беспрестанно оглядывался на всех предстоявших, как будто хотел возбудить их сострадание к себе или убедить в драгоценности утраты; потом упал на колени и молился с таким жаром, с таким ясным напряжением воли, что мы тогда же посмотрели друг на друга и сказали себе взорами: «Нет, уж он не жилец на земле». Нами овладело уныние; жизнь с ее непрерывными муками и преходящими утехами показалась столь презренною, что мы дерзнули уж завидовать ничтожеству, и со слезами на глазах, из глубины сердечной повторяли за чтецом: «Воистину суета всяческая, житие же сень и соние, ибо все мятется всяк земнородный, якоже рече писание». Еще более — смотря на эту красоту обезображенную, на эту добродетель, столь жестоко уязвленную, мы усомнились в самом провидении,

почли рождение иглою случая, а смерть пределом, за которым ничто уж для нас не существует, упали духом — как вдруг раздалось божественное благовествование: «Аминь, аминь, глаголю вам, яко грядет час и ныне есть, егда мертвии услышат глас сына божия и услышавши оживут», звезда бессмертия лучезарная сверкнула нам прямо в утомленные очи, и сердца наши затрепетали радостью... О, если б тогда могли мы предать это утешение нашему другу!.. Между тем оканчивалось уже отпевание, пропеты умильные песни о житейском море, воздвигаемом напастей бурей, о тихом пристанище и наконец о вечной памяти; совершена была уже молитва по усопшей, о еже проститися ей всякому прегрешению, вольному же и невольному, яко да господь бог учинит душу ее, идеже праведнии упокоеваются. Народ начал давать последнее целование... Что сделалось с Дмитрием в эту минуту, того не может выразить человеческое слово. Истерзавшись, глядя только на него, мы бросились наконец почти без памяти к нему и решились не допускать его до гроба. Священник взял уже горсть земли и, бла-

гословляя мертвое тело, хотел было произнести: «Господня земля и исполнение ее», — как вдруг несчастный вырывается из наших рук и кричит: «Подождите!» Удивленный служитель божий останавливается. Дмитрий бросается на труп, осыпает жаркими поцелуями и, схватив руку, уставясь взорами в лицо, восклицает: «Адель... к тебе», — и, чудо, на лице у почившей мелькнула, так нам показалось, улыбка, как будто б она, не прешедшая еще в землю, вняла знакомому гласу своего друга, прощалась с ним... или приветствовала его в другом, лучшем мире, потому что он лежал уже мертвый [37], упав с последним словом к подножию одра...

Несчастный Дмитрий похоронен на...ом кладбище подле подруги, с которою бог не судил ему жить на этом свете. Там, на их священных могилах, под тению развесистой березы, летом, при последних лучах заходящего солнца, часто сидим мы, оставшиеся друзья его, воспоминаем о незабвенном или — в молчании — сладко размышляем о таинстве любви.[38]

# Примечания

*Я прочел ей свое рассуждение о просвещении как первой силе государства, без которой нет ни твердого благосостояния, ни могущества.* — Тема этого сочинения имеет сходство с темой статьи Дм. Веневитинова «О состоянии просвещения в России», предложенной им в качестве программы журнала Любомудров (см. об этом: Манн Ю. Поэтика русского романтизма. М., 1976, с. 244).

[^^^]

## 2

Сравнение — не доказательство (фр.).

[^^^]

*Наполеон, завидев знамя Дезе при Маренго, или подписывая Кодекс, или возлагая на себя корону Карла Великого в соборе Нотрдамском... — Дезе — полководец Наполеона, благодаря которому было выиграно сражение с австрийцами при Маренго (1800). Кодекс Наполеона, или Французский гражданский кодекс (1804) — свод законов, созданный при непосредственном участии Наполеона. При коронации в 1804 г. в соборе Парижской богородицы, когда папа Пий VII собирался возложить на голову Наполеона корону французских королей, тот вырвал ее из рук папы и надел на себя сам.*

[^^^]

## 4

*Письма к Юлии* — роман в письмах «Юлия, или Новая Элоиза».

[^^^]

## 5

...цели яко голуби — цели (старослав.), то есть просты — слова из Евангелия от Матфея (X. 16).

[^^^]

...как у Жуковского при взгляде на Мадонну —  
здесь имеется в виду статья Жуковского «Ра-  
фаэлева Мадонна» (1821).

[^^^]

*Михайлов* — имеется в виду Александр Алексеевич Михайлов (1770–1847) или его брат Андрей Алексеевич (1771–1849). Оба архитекторы.

[^^^]

*Массильонови избранные* — имеется в виду проповедь французского проповедника Ж. Б. Массильона (1663–1743) «О малом числе избранных для царства небесного».

[^^^]

*...не много людей, которые, по выражению Языкова, были бы достойны чести бытия. — Имеется в виду последняя строка стихотворения Н. М. Языкова «Катеньке Мойер» (опубл. 1828).*

[^^^]

*Арзус* — в греческой мифологии — человек, имевший глаза на всем теле и выполнявший функции сторожа.

[^^^]

«*Иваное*» — роман английского писателя Вальтера Скотта «Айвенго» («Ivanhoe», 1820, русский перевод — 1826).

[^^^]

*Ревекка* — героиня «Айвенго».

[^^^]

...к звукам Платоновой гармонии — в диалоге Платона «Тимей» развивается учение пифагорейцев о гармонии космоса, но о звуках гармонии не говорится. Пифагорейцы считали, что небесные тела, вращаясь, издают звуки, образующие гармонию сфер, не воспринимаемую обыкновенным человеческим слухом.

[^^^]

*Магнетизм* — в 1820-е гг. весьма популярным было учение немецкого врача Ф. Месмера (1733–1815) о «магнитной силе», которую человек черпает из космоса и которая воздействует на других людей.

[^^^]

*Дон Карлос* — герой одноименной драмы Ф. Шиллера (1787). Летом 1826 года Погодин читал «Дон Карлоса» А. Трубецкой.

[^^^]

...*французские палаты* — имеются в виду палаты французского судебно-административного парламента (упраздненного в 1790 г.).

[^^^]

*Ланкастерские школы* — английский педагог Дж. Ланкастер (1778–1838) создал систему обучения, при которой сильные ученики обучали более слабых. В Петербурге в конце 1810-х гг. было открыто «Общество училищ взаимного обучения»; ланкастерская система обсуждалась в журналах, ею особенно интересовались поборники народного просвещения.

[^^^]

*...прогулка по Женевскому озеру* — на берегу Женевского озера разыгрываются наиболее драматические события «Новой Элоизы» Руссо.

[^^^]

*...ива Шекспирова* — об иве поет Дездемона в «Отелло»; под ивой утонула Офелия в «Гамлете».

[^^^]

*...памятник славного македонца, что первый указал сынам Иафета их преимущество пред прочими братьями, Александрию — Александрия — город в Египте, основанный в 332–331 гг. до н. э. Александром Македонским. Иафет, по библейскому преданию, — один из трех сыновей Ноя, родоначальников слепого человечества. Потомками Иафета считаются индоевропейцы.*

[^^^]

# 21

...скажем <...> с Соломоном: *суета сует и всяческая суета!* — «суета сует» — слова из книги Екклезиаста, автором которой считается библейский царь Соломон.

[^^^]

*...творческие думы созреют, по выражению поэта, в душевной глубине — парафраза из стихотворения Пушкина «Деревня» (1826).*

[^^^]

*Окен* Лоренц (1779–1851) — немецкий естествоиспытатель и натурфилософ, последователь Шеллинга.

[^^^]

Клопшток Фридрих Готлиб (1724–1803) — немецкий поэт.

[^^^]

*Пифагорова монада* — здесь: простейший элемент.

[^^^]

*Иаковлева лестница* — по библейскому преданию, патриарху Иакову приснилась лестница, соединяющая землю и небо (Бытие, XXVIII. 12).

[^^^]

*Горе имеем сердца* и далее — слова из литургии (обедни) — церковной службы.

[^^^]

*И признак бога — вдохновенье* Для них и чуждо и смешно — строки из стихотворения Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом» (1825).

[^^^]

*Тиссотовы лекарства* — названы по имени швейцарского врача С.-А. Тиссо (Tissot) (1728–1797), автора популярных в XVIII в. и переведенных на русский язык трудов: «Онанизм. Рассуждение о болезнях, происходящих от малакии» (М., 1793); «О здравии ученых людей» (Спб., 1787); «Наставление народу в рассуждении его здоровья» (Спб., 1781).

[^^^]

*Mémoires de la Contemporaine* — имеются в виду вышедшие в 1827 г. в Париже мемуары, затрагивавшие многих политических деятелей: «*Mémoires d'une femme sur les principaux personnages de la République, du Consulat, de l'Empire etc.* («Мемуары современницы, или Воспоминания женщины о главных деятелях времен Республики, Консульства, Империи и т. д.»). Авторство их приписывается Эльзелине Ванайль де Йонг (Vanayl de Yongh), более известной под именем Иды Сент-Эльм (Saint-Elme) (1778–1845).

[^^^]

Ах, я получил «Мемуары современницы», прочтите их, это прелестно! (фр.)

[^^^]

чтобы было о чем рассказать (фр.).

[^^^]

*Ваал* — языческое божество.

[^^^]

в счастливые дни вспомни обо мне (ит.).

[^^^]

...словами поэта и далее — парафраза двух строк четверостишия Жуковского «Воспоминание» (1827).

[^^^]

*...и тускнеет мое чистое зеркало* — ср. в дневнике Погодина за 1828 г.: «Ее (А. Трубецкую. — М. В.) увлекут в другой круг <...>

И потускнеет мое чистое зеркало... (II, 277).

[^^^]

...он лежал уже мертвый — ср. запись в дневнике Погодина в связи с болезнью А. Трубецкой (1827 г.): «Неужели она умрет, и я умру, прощаясь с нею на погребении» (II, 85).

[^^^]

Впервые напечатано в «Московском вестнике», 1830, ч. V, № XVII–XX, с. 15–60, за подписью «N. N.».

[^^^]